

БОРИС БЕЛОГЛАЗОВ

ВСЁ-ТАКИ ЖИВОЙ

Путь в дивизию

По дороге на фронт войной запахло на станции Смоленск, куда нас привезли перед рассветом 3 мая 1944 года. Выгрузившись из вагонов, мы расположились на двух холмах около станции, а когда рассвело полностью, то увидели, что на этих холмах расположено старое кладбище и что домов нет, а виднеются только одни железнодорожные пути. Несколько позже мы обнаружили: все службы станции врыты в землю и располагаются в укрытиях.

Полный световой день мы провели в ожидании темноты. Мы — это 200 молодых солдат-уральцев, которым ко дню отправки на фронт исполнилось 18 лет. Предфронттовую подготовку прошли в городе Свердловске в 4-й отдельной инженерно-сапёрной бригаде. Несмотря на то, что нас готовили к боевым действиям в любых условиях (особенно в зимних), лично я испытывал тревожное чувство на случай встречи с врагом в реальных условиях. Одно дело — обучаться военным действиям, другое — самому быть действующим солдатом. В этом я убедился скоро, уже вечером того дня, когда нас распределили по вагонам по 50 человек. Было темно, а когда закрыли тяжёлые вагонные двери, наступила сплошная жуткая темнота. Мы лежали на полу вагона, тесно прижавшись друг к другу. Все молчали. В этой темноте и молчании ожидали, когда наш вагон тронется в путь ближе к фронту. Вдруг завывли сирены, им помогли паровозы, где-то раздались взрывы, захлопали зенитки...

Внезапная волна завывающих звуков впервые в жизни вызвала во мне тревогу за собственную жизнь, а положение в полной темноте, в закрытом вагоне, эту тревогу усиливало. Уже тогда мысленно я подумал о том, что спастись можно, только уехав с этой станции. И тут же я стал ощущать: вагон тихонько тронулся и пошёл быстрее и быстрее.

Внезапно стрельба и вой сирен прекратились. Опять наступила полная тишина. Я понял, что вагон никуда не двигался. Думаю, что эта звуковая свистопляска была для всех нас первым смертным сквозняком.

Спустя некоторое время прицепили паровоз и долго нас везли. Все успокоились и успели поспать. Привезли ночью на какую-то небольшую разрушенную станцию, высадили, построили в колонну по два — и в путь. За весь день

БЕЛОГЛАЗОВ Георгий Михайлович родился в 1926 году. Воевал с 22 февраля 1943 года, в том числе с 6 мая по 15 октября 1944 года — рядовым взвода инженерной разведки 64 о. и. с. б. 70 с. д. Награждён орденом Славы III степени и медалью “За победу над Германией”.

Из материалов Музея боевой славы 70-й стрелковой дивизии Школы № 2065 г. Москвы.

хода с небольшими привалами дошли до города Рославля, переночевали в нём и утром снова в путь.

Во второй день движения наша маршевая рота вошла в болотистую местность. Дорога смешалась с грязью, идти стало труднее. Выбирая места посуше, рота повернула правее кустарника, вышла на небольшой пригорок, и — чудо! — все мы увидели много, очень много девчат в военной форме. Наше появление для них было также полной неожиданностью.

В этой ситуации храбрее оказались девчата. Они первыми стали представляться: “Мы рязанские, а вы?” Мы молчали, и даже не потому, что надо соблюдать военную тайну, а просто растерялись в силу своей молодости, застенчивости и неосведомлённости о том, как надо вести себя двумстам молодым солдатам, идущим по дороге на фронт, более чем с тысячей девушек, строящих эту дорогу. Кое-кто из наших попытался отшутиться, но команды на привал не было, рота двигалась вперёд, и обе стороны поняли: мужчинам надо идти на войну, а женщинам продолжать заниматься своим делом.

Далее, на всём протяжении болотного участка, нам встречались девушки в военной форме, которые работали группами на дороге, улучшая её деревянным настилом и фашинами.

Да, работёнка эта была бы даже для мужика тяжеловата! Нас о помощи не просили, да мы и не имели права останавливаться. Лично я не ощутил никакого уныния в настроении девчонок. Когда рота подходила к одной группе девушек, то другая в шуточной форме кричала, чтобы нас не задерживали и отправляли к ним. Так и проводили нас на фронт оказавшиеся по воле войны на нашей фронтовой дороге эти рязанские девчата.

Эта неожиданная встреча нас приободрила. В то же время вывод напрашивался сам собой: к своим уралочкам мы могли вернуться только через войну. Знаю, все двести, шагавшие рядом со мной, не были женаты. Да и никому из девчонок не могли гарантировать замужество!

В этой же маршевой роте вместе со мной шли 10 ребят — моих односельчан из пригородного села Горный Шит. Забегая вперёд, скажу, что невредимым с войны пришёл только один, четверо погибли, шестеро вернулись с тяжёлыми ранениями. Всего наше село потеряло на войне 241 человека.

Распределяли нас по частям утром 6 мая. Я попал в группу из 20 человек. К нам подошёл в дождевой накидке офицер и сказал просто: “Идемте за мной”.

День был солнечный. Я его запомнил потому, что нас вёл человек ОТТУДА и вёл он нас ТУДА. Высоко в небе, на западе, чуть левее от нас, почти на одном месте кружил самолёт, а выше в лучах яркого солнца блестели серебром ещё два маленьких самолёта. Конечно же, мы задали вопрос: “Что это за штуки?” Офицер нам разъяснил, что это самолёт-разведчик по прозвищу “рама”, его охраняют два немецких истребителя. Тут же мы задали следующий вопрос: “Могут ли они на нас напасть?” Ответ был такой: “Вообще-то могут, но им нет смысла, поскольку нас маловато. — Добавил: — Я же доктор, в случае чего вылечу”. Повернулся к нам, улыбнулся, видимо, подумал: “Ребятишки ещё”. Немного погодя, громко и резко объявил: “Я врач 64-го отдельного инженерно-сапёрного батальона 70-й дивизии. Ясно?”

Здравствуй, семидесятая!

Так я впервые услышал номер дивизии, в которой мне предстояло воевать.

Издали увидели около двух десятков домов. Через ложбинку по тропинке поднялись на возвышенность, оказались на единственной улице деревеньки, состоящей из деревянных домов, большинство которых были покрыты соломой. “Как же она уцелела? — Чудом уцелела, — пояснил наш вожатый, — а жители эвакуированы в тыл, — добавил он. — Живём здесь мы, то есть наш 64-й батальон сапёров, вас тоже сейчас определяют”, — закруглил беседу на ходу доктор. Показалось как-то чудно: “на войне — живём”...

Троих из двадцати — меня, моего земляка Сычёва Геннадия и Николая Шесминцева из Курганской области — определили во взвод инженерной разведки, состоящий из восьмью человек и представлявший географию почти всей России. Все они стали для меня дорогими и близкими товарищами, составили мою фронтовую семью, и я назову их поимённо: старший сержант Пикалин

с Волги, сержант Жгилев из Архангельской области, Михаил Михеенков со Смоленщины, Хорошев из Куйбышева, Михаил Рогов из Новосибирской области, земляк и друг Рогова — Михаил Козлов, Гаврилов и позднее направленный к нам повар Сурков. Командовал взводом лейтенант Лебедев.

Размещался взвод в избе с соломенной крышей, пол настелен досками наполовину, одну треть составлял спальный деревянный настил для всей семьи, тянувшийся от печи до стены на высоте от земли примерно полтора метра. В юго-восточном углу стоял стол, справа от двери находилась пирамида с автоматами. Отсюда написал я первое письмо домой и сообщил маме, трём старшим сёстрам и двум младшим братишкам о том, что теперь нахожусь на фронте, в действующей армии, ещё не ведая того, какую тревогу за мою судьбу будут испытывать мои родные.

Нас, вновь прибывших, в первую очередь стали обучать, как надо действовать в боевых условиях, и растолковали место минёра-сапёра на войне. Главная задача — помогать пехоте, артиллерии и танкам двигаться вперёд. Для этого мы должны обезвреживать минные поля и другие инженерные сооружения немцев. Показывали настоящие боевые немецкие мины разных типов, учили, как их обезвреживать под огнём противника, который был пока что нам лично не знаком и находился в трёх километрах от места занятий. Проходили курс необстрелянного солдата около трёх недель, постепенно привыкая к необычной обстановке: пищу принимали два раза в сутки, спали, не раздеваясь, вокруг видели только военных, занятых своим военным делом, слышали артиллерийские дуэли, пулемётно-винтовочную трескотню. Всё это есть жизнь на фронте во фронтовой полосе, но ещё не сама передовая.

Близость передовой ощущалась ежеминутно. От нашей деревни на запад шёл большой овраг, на восточном склоне которого располагалась наша артиллерийская батарея. Нам она хорошо была видна. Когда по ней била немецкая артиллерия, то снаряды ложились далеко, где попало. Вскоре мы тоже, как и “старики”, к их разрывам привыкли и убедились, что хваленые немцы далеко не снайперы.

К вечеру, после ужина собирались в дом все. Занимались кто чем: одни играли в домино, другие выходили на улицу покрутиться на турнике, третьи курили. Когда темнело, не раздеваясь, ложились спать. Я же почему-то часто смотрел в сторону передовой. Там каждую ночь немец нервничал: без конца освещал небо ракетами, почти непрерывно в нашу сторону ползли кроваво-красные трассы пуль, слышались глухие разрывы снарядов. Через недолгое время я научился отличать по звуку основательную неторопливую работу нашего пулемёта и по раскатистому трёхкратному эху узнавал выстрел из нашей винтовки.

Несколько раз комбат майор Шашлов посылал меня с бумагами в штаб дивизии. По выходе из деревни надо было по дряхлым мосткам перейти болотину шириною около 200-х метров.

Был месяц май, конец весны, и, когда я подходил к этим мосткам, множество лягушек удирало с них в воду. Они, видимо, занимались своими лягушачьими делами и не ведали, что у людей идёт война.

Один раз, отнеся бумаги, я подошёл к берегу болота и стал наблюдать за лягушками. На моей родине есть много болот, но такого количества лягушек я не видел. Личное оружие было автомат ППШ. Ранее я из него никогда не стрелял. Меня всё время подмывало попробовать, как он бьёт. Прицелился, дал очередь по лягушкам. Убил двух, остальные скрылись. Подошёл ближе, определил — бьёт здорово, но лягушек стало жаль, и больше я их не трогал.

В особом месте моей памяти лежат немецкие листовки. Они нам их сбрасывали в огромном количестве с самолёта, который обычно пролетал рано утром низко над деревней. Видно, у того самолёта был специальный автомат по выбрасыванию листовок. Равного размера и цвета, устлала они окрест землю. Мы их собирали, читали и, конечно, уничтожали. Первую я прочёл о Власове. Она была так написана, что без труда угадывалось: сей генерал для нас есть подлый предатель. Спасибо немцам, просветили. Я-то о нём ничего раньше не слышал. Грубо и невежественно писались и другие. Например, на многих печатались “пропуска” к немцам. По их мнению, войну солдат мог закончить очень быстро. Для этого надо было воткнуть штык в землю, поднять руки вверх. В одной жёлтой бумажке сообщалось: “Вас, русских, убито уже больше двадцати миллионов да столько же посажено большевиками в тюрьмы”.

Несуразица получается. Вроде бы и воевать-то у нас уже некому. Но я видел другое. В моём взводе царил обыкновенное человеческое русское дружелюбие, настроение бодрое, были и шутки, и смех. Видел, как работают деловито артиллеристы на том берегу оврага. Словом, везде кипела нормальная фронтовая жизнь. А общее положение на фронте ставило немцев в условия неминуемого краха. Ущербная пропаганда! Вопли обречённых! Хотя я в то время не принадлежал к партии большевиков и не был даже комсомольцем, но я был русским, а Россия – моя Родина, моё Отечество, и этим решалось всё. Моё отношение к борьбе с немецким нашествием определялось наличием у меня русской семьи: матери, отца, сестёр, братьев. Я имел родной дом, родное село, любимый Урал и всю Россию.

Со мной на фронт пришли двести молодых уральцев. По дороге от Свердловска до Смоленска видел движение на запад большого количества военной техники и нашего брата – солдат. Даже бывалые солдаты, ехавшие с нами до Москвы, говорили: “Вот это техника! Нам бы такую в сорок первом... – И, обращаясь к нам, с шуточкой добавляли: – Сидели бы вы сейчас по домам да на вечерки к девкам бегали!..”

Но 1944 год требовал нашего участия в войне, и мы ехали на фронт. Духовное состояние было настроено на то, чтобы добить врага и добыть Победу. Так что те листовки немцы бросали нам зря, пустая затея. Саму же Победу, первую в нашей молодой солдатской жизни, мы ещё представляли очень смутно, не знали, когда она наступит и как будут выглядеть её результаты.

Кончились занятия в “первом классе” войны, нас стали готовить для борьбы там, на передовой. О ней мы слышали много и от этого ещё больше ничего не понимали. Говорили, что это ад, что это самое пекло войны.

В плане подготовки был особый пункт: знакомство с передовой. Где-то в конце мая сержант Жгилёв мне сказал, что сегодня мы идём на передовую, пока что на смотрины. День был тёплый, солнечный. Шли мы недалеко от артбатареи, и здесь я увидел две необычные машины: оказалось, что это те самые знаменитые “катюши”. Несколько отойдя, Жгилёв сказал, что “надо высушить портянки”. Мы разделились, уложили портянки на солнце, а сами растянулись полежать на траве. Солнце, тепло, месяц май, тишина – не верится, что идёт война совсем рядом. Любопытство не давало мне покоя, и я спросил сержанта, почему ту машину называли “катюшей”. Он мне ответил: “Я и сам толком не знаю, когда был рядовым, как ты, тоже слышал от бывшего сержанта что-то вроде фронтового анекдота”. В конце нашей беседы я понял одно: в благородной ярости, идя в атаку, солдаты сбрасывают с себя всё лишнее. То же самое делает и эта машина, только оголяется при этом до снарядов и негодует ещё больше – световой и звуковой эффект тому подтверждение.

Немного погодя с гадким воем пронеслось, а затем разорвалось несколько немецких снарядов. Тут же в ответ наша артиллерия туда отправила пачку снарядов. Только летели они как бы, казалось, по-деловому, без нудного воя, только немного шепелявя.

Просушив портянки и отдохнув на солнце, двинулась дальше. Идти стало легче и приятнее, ноги не скользили. Я шёл чуть позади и думал: “Этот парень на один год меня старше, а уже полгода воеет, является кандидатом в члены ВКП(б), носит сержантские погоны и брюки разведчика от маскировочного костюма, награждён орденом Славы 3-й степени. Да, есть чему позавидовать!” Когда же я стал рассматривать его ноги, то увидел, что у него на ногах такие же, как у меня, ботинки и спрятанные под маскбрюки обмотки. Ох, уж эти обмотки, как мы их ненавидели и старались прятать их подо что-нибудь. Кто носил сапоги, тот считался вдвое авторитетнее. Утешился я тем, что мы с ним оба в обмотках, а значит, в этой части равны.

Очнулся от этих дум, когда сержант негромко сказал: “Вышли на передовую, отстань от меня на 15 метров”. Я крутил головой, но ничего не видел особенного: голая глинистая земля, небольшие холмы, тишина, хорошая солнечная погода. Нисколько не верилось, что мы на самой полосе войны.

Долго шли по узкой траншее, которая затем повернула в гору, стала выше моей головы, просторнее. При переходе вершины холма, на его северном склоне увидел я в плащ-накидке со снайперской винтовкой солдата. Мы подошли к нему. Сержант спросил у него, что видно, что слышно. Солдат ответил каким-то заржавленным полуголосом: “Неделю чой-то бегают”. Я подошёл

к брустверу, и мы втроём стали смотреть в сторону от нашей траншеи. Вот она, передовая. День солнечный, зрение у меня хорошее, но я толком ничего не мог разобрать и видел только очертания складок местности, кое-где кустарник и всё ту же желтовато-серую глину. И была удивительная тишина. Бестолковое рассматривание местности мне надоело, повернул голову и увидел, что солдат и сержант пристально смотрят в одну точку. Проследив за их взглядом, быстро обнаружил в небольшой ложинке северо-западнее от нас на расстоянии 1300–1500 метров мелькание серо-зелёных предметов. “Что-то строят”, – сказал солдат. Я же не сдержался и по своей наивной запальчивости сказал: “Это и есть немцы?” – “Да”, – ответили мне. “Тогда почему же в них никто не стреляет, их же видно?!” – не унимался я.

“Пальни разок”, – сказал сержант солдату. “Далеко, не возьмёт”, – ответил он. Но, посмотрев на меня, решил стрельнуть. Долго целился, выстрел прозвучал негромкий, но эхо троекратно повторило его.

Мы уставились туда. Прямого результата снайперской пули мы не видели, но беготня и мелькание тотчас прекратились.

Постояв немного и попрощавшись с солдатом, мы с сержантом по траншее отправились на южную часть холма. Идя по траншее, только сейчас стал замечать выкопанные в стенах углубления, завешанные чем попало ходы, русский товар, запах махорки. Эх, махорочка-махорка! Сразу почувствовал, что траншея живёт. Повернув направо голову, увидел небольшую площадку, на которой без щитка с заправленной лентой стоял станковый пулемёт “Максим”. Пройдя ещё немного, свернули в блиндаж-землянку в три наката. В темноте, оглядевшись, увидел перед собой узкую полоску света, а справа и слева стояли две стереотрубы. У левой сидел сержант-артиллерист и очень аппетитно обедал. Нам он только молча кивнул головой, продолжая уплетать свой паёк. Мой сержант сел к правой стереотрубе и, немного посмотрев, посадил за неё меня. Теперь передовую я рассматривал долго, тщательно, с помощью техники, по участкам. Сержант сзади мне посоветовал: “Запоминай все, что сможешь, когда придётся там работать ночью, чтобы не ошибиться!”

В прибор было хорошо видно профиль немецкой траншеи, ряды колючей проволоки. Когда перевёл окуляры трубы на северо-западный участок, то на колючей проволоке сверху увидел белое пятно. Я сказал, что вижу непонятное белое пятно на проволоке. Мне ответили, что это в конце зимы наши разведчики ходили за “языком”, и при отходе один из них был убит и повис на проволоке в белом масклате. Мне стало неловко за тот вопрос. Однако я добавил ещё: “А нельзя ли было его взять?” Ответ сзади: “Пробовали, только ещё понесли потери”.

Затем я стал рассматривать глубину немецкой обороны. Вдалеке увидел белую стену какого-то здания. Сержант-артиллерист (он к тому времени перестал жевать) пояснил мне, что это контора совхоза. Следя от конторы по дороге в нашу сторону, неожиданно ясно и чётко увидел группу немцев в 15 человек. Они в полный рост спокойно шагали по дороге в сторону своей передовой. Меня аж подбросило: “Как это они могут так спокойно идти прямо к нам?!” Сержант-артиллерист взял трубку телефона и что-то кому-то сказал. Так далеко взрыва не было видно, но немцы бросились врассыпную, и больше их не было видно.

Идя с передовой к себе в часть, я был полон впечатлениями от увиденного. Но я понимал, что был период длительного затишья, что днём передовая в этих условиях мало похожа на настоящую войну, которой мне ждать пришлось уже недолго.

Как известно, 6 июня 1944 года союзники на севере Франции высадили десант. Об этом сообщила наша дивизионная газета “За атаку”.

Информация была внушительная: в операции участвовало 11 тысяч самолётов.

После завтрака около дома, под навесом, собрали весь батальон и по случаю открытия второго фронта произнесли речь. Хорошо помню, что само сообщение ни у кого особого восторга не вызвало. Выслушали молча, разошлись молча. Никто, даже старые солдаты, не ощутили момента ускорения окончания войны. А когда наша группа остановилась около “нашего” дома покурить, то пожилой солдат Макаренко сказал очень просто: “Хиба так можно долго трепаться!” Это он по адресу союзников о затяжке открытия второго фронта. Лучше не скажешь.

Под вечер привезли кино, и в том сарае впервые на фронте я смотрел английский фильм “Джордж из Динки-джаза” – о том, как легко английские разведшпионы одурачивали немцев той же специальности.

По общему настроению, оживлению в частях угадывалось скорое изменение боевой обстановки на нашем участке фронта. В своём взводе я тоже обнаружил перемены. Начались усиленные практически занятия, а затем были образованы три группы подрыва. Это они должны были первыми сделать три коридора в минных полях и колючей проволоке на пути нашей пехоты во время штурма немецких траншей и укреплений. Ни в одну из этих групп меня не включили, я продолжал выполнять мелкие хозяйственные работы.

В конце июня фронт пришёл в движение. Меня назначили связным к дивизионному инженеру. Находясь несколько вдали от передовой, я впервые увидел раненых. Их везли на лошадях в повозках, достаточно много, некоторые из них лежали, тихо стонали. Забинтованы были в большинстве руки, ноги, реже головы. Какое-то смешанное чувство неосознанного страха за себя и жалости к раненым овладело мной. Я еле плёлся в сторону передовой без своей собственной боевой задачи. Когда подошёл к той траншее, в которой мы были с сержантом во время знакомства с передовой, то она была пуста, бой гремел где-то в глубине немецкой обороны. В стороне увидел своих ребят. Они свою задачу выполнили. Сказали мне, что только мой земляк Генка Сычѐв погиб. Я внутренне удивился: так скоро и так просто не стало Генки. Возвращаясь, в ложбинке увидел около десятка убитых, с ними рядом лежал Генка. Трудно было смотреть на неподвижно лежавших людей и осознавать то, что они убиты.

Вечером лейтенант Лебедев послал меня на лошади съездить за телом Сычѐва, но в том месте я не нашёл никого, около тех мест не было ни души: ни живых, ни мёртвых. Всё заново было перепахано немецкими снарядами. На другой день с дивизионного кладбища нам сообщили, что у них есть убитый разведчик без документов. Надо было нашего Генку похоронить особо, и я отправился на то кладбище за ним. Но там оказался другой разведчик, мужчина с выступившей бородой. У нашего Генки кое-как провалился пушок на усах. Из-за любопытства осмотрел кладбище, присутствовал при захоронении погибших. Похоронная команда состояла из довольно пожилых солдат, малоразговорчивых, они медленно и спокойно делали своё дело. В небольшой кладбищенской избѐнке пожилой лейтенант диктовал, а средних лет женщина-сержант на небольшой пишущей машинке отстукивала: “Погиб за Родину, проявив героизм и мужество”.

Так и не смог я найти Генку, чтобы похоронить его, как разведчика, с воинскими почестями нашего взвода.

После этого дня трудно было засыпать. Разбудили срочно по тревоге. Быстро дошли до передовой, двинулись дальше через нашу оборону, миновали половину немецкой, стало жарко. Остановились. Приказ: снять шинели, сложить в кучу. Рядовой Белоглазов остаётся с шинелями, дожидается обоз батальона. Остальные – вперёд, догонять отступающего немца! Побежал, гад! Но это ругательство вырвалось у меня с радостью тогда, когда наши ушли дальше. Огляделся. Передовые боевые части ушли, тыловые и обозы ещё не подошли. Стою посреди дороги один, стало как-то неудобно, чуть жутковато. Разглядывая дом, понял, что его восточная стена и есть та часть, которую я рассматривал в стереотрубу из наблюдательного блиндажа нашей обороны в конце мая. Странно. Только что на этом месте находился враг, а теперь оно наше. Залез на чердак и с мальчишеским любопытством стал рассматривать окрестность, недавно занятую немцами. Издали как-то не верилось. Спустился на землю и тихонько пошёл по линии окопов. Поразило меня огромное количество колючей проволоки. Растянутая кольцами Бруно, на кольях, разбросанная где попало, она гадилась всю местность. В некоторых местах её навалили штабелями, не смогли, видимо, опутать и весь свой тыл. Издали увидел доску на палке и прочёл надпись: Minep. Забыли или не успели снять указатели со своих минных полей. Везде валялись банки, котелки, гильзы, запасные стволы к пулемѐтам. Пахло сгоревшим порохом. Стало неприятно вдыхать испорченный немцами воздух, и я пошёл к своим шинелям.

Перейдя небольшой мостик и поднявшись в горку, по дороге слева увидел могильный холм и крест с немецкой каской. Впервые видел могилу немецкого солдата, подошёл поближе. Рассматривая чужой для меня знак памяти

погибшего, обнаружил, что он сделан из двух кривых сучьев берёзы и связан колючей проволокой. Видать, здорово торопились! Заглянул в землянку, но оттуда меня выгнал спёртый запах недавно кучно живших здесь немцев. Так я узнал, что немцы пахнут своим, неприятным для русских запахом. Вернулся к своим шинелям. Совсем другое дело: пахнут нашим, русским, родным запахом. Улёгся на них и с удовольствием заснул. Забыл всё на свете и даже то, где нахожусь и что должен делать. Проснулся от тишины. Именно она в данном случае оказалась для меня слишком тревожной и необычной. Солнце ушло за контору совхоза, стало прохладнее. Я отыскал в куче свою шинель, надел, стало теплее. А душевная тревога нарастала. По-прежнему вокруг не было ни души.

Сидеть в одиночку на недавнем поле боя и неизвестно чего ждать – это вызывает какое-то пустотревожное ощущение. Даже автомат с 72 патронами казался мне ненадёжным товарищем. Отошёл к стене конторы, улёгся на бревно, замаскировался сверху палаткой, вдруг в нескольких местах на обеих руках почувствовал жжение, укусы. Вскочил и разглядел – это муравьи мелкой породы. Оказывается, я улёгся на их дорогу. Даже живые муравьи были мне в этот час приятной компанией.

Наблюдая за их работой, не заметил, как стало темнеть, услышал шум приближающегося обоза. Вот они, наконец-то! Не военный тыл, а какой-то неторопливый крестьянский обоз напоминало то движение. Ехали повозки шагом, кто шёл, кто сидел в телегах, курили, нехотя переговаривались, и во все не было похоже, что они обязаны поживее догонять свои передовые части. Я же вас с раннего утра жду! Сложили шинели на повозку, и вместе с обозом я пошёл на город Шклов. Белоруссия.

Так начались мои военные дороги по этой многострадальной земле.

Днепр и Шклов

В Шклов обоз пришёл на другой день вечером. Немцев из него только что выбили.

Спускаясь с восточного холма дороги, ведущей в город, я увидел взорванный мост, впервые реку Днепр и трёхэтажное здание на западном берегу. Вернулся к ребятам моего взвода. На другой день по понтонному мосту, построенному за ночь саперами, мы перешли на другой берег и как разведчики стали обследовать железнодорожную станцию. Обнаружили целый неповреждённый эшелон-госпиталь во всем медицинским оборудованием. Немцев же ни живых, ни раненых нигде не было. Остальные постройки были деревянные и особого интереса не представляли. Постучавшись в один из домов, от женщины узнали, что со вчерашнего вечера немцев в городе не видно. Вышли на дорогу, прошли городскую местность. Впереди виднелся большой массив леса. Очень удобное место для засады. Разделились по два, пошли навстречу неизвестности. Ничего не поделаешь, разведчики!

В паре со мной был Михеенков Михаил 1925 года рождения. Он два года жил в местности, оккупированной немцами. Зная это, я заставлял его рассказывать, какие они, эти немцы, как мы будем с ними биться сейчас, если встретимся вот здесь, в нашем с ним положении. Михеенков имел определённую природную хитрость, ловко увёл в сторону мои настырные вопросы и стал вкрадчиво рассказывать о том, что дома, в большом селе райцентра, у него осталась невеста и он, имея десятилетнее образование, по возвращении будет так же учительствовать, как и она.

Этот разговор двух молодых неженатых парней так завёл, что мы обалдели, увидев в 10 шагах человека в немецкой форме. Я особенно, поскольку эту ненавистную форму на живом человеке видел впервые.

Кое-как до меня дошло, что это узбек, сдавшийся в плен в 1943 году. Он широко улыбался и всё повторял: “Ташкент, Ташкент” Он явно был доволен тем, что удрал от немцев и в данный момент живой. Я в то время мало ещё знал о том, что фронтовики ненавидели тех из наших, кто сдавался в плен (полбеда) и надевал немецкую форму (полная беда), чтобы помогать врагу. Даже такой “побег” от своих хозяев не оправдывал этого узбека. “Дурак ты, – сказал Михеенков, – лучше бы ты вышел к нам совсем голый!” Подошёл к нему и недружелюбно сдёрнул с него пиджак, штаны, шлёпнул по спине: “Иди, может, увидишь свой Ташкент!”

Сзади на нас надвигалась колонна автомашин. Мы сошли с дороги на обочину ближе к лесу. Постояли, пропустив мимо себя колонну машин с пушками и пехотой. На душе стало веселее: так-то лучше, скорей выгоним немца. Сошлись в полном составе нашего разведвзвода, свернули в лес по проселочной дороге, согласно карте маршрута нашей семидесятой дивизии.

Углубившись в лес немногим более километра, ещё встретили четверых в немецкой форме. Эти оказались русскими. Двое были из кадровой армии, а двое – 1926 года. Капитан приказал: молодёжь – отпустить, а сознательных мужчин – расстрелять. Тут же Сурков автоматной очередью уложил обоих. Скидывая немецкую форму на бегу, скрылись в лесу те двое, что были 1926 года. Я подошёл к убитым и впервые в жизни рассматривал русских в немецкой форме, только что расстрелянных русскими. На вид оба были хорошо сформировавшимися мужчинами, имели длинные, зачёсанные назад, как у немцев, волосы (мы же были стрижены под ноль). Не беря у них документов и не закапывая их, пошли дальше. Похоронят их как немцев, так как они уже не смогут рассказать ничего о себе. Издержки войны!

На другой день капитана куда-то отозвали, и он больше не появился у нас. Остались группой в семь человек. Вечером, перед привалом на ночь в лесу старший сержант Пикалин грубо обругал капитана за приказ расстрелять тех двоих. Он говорил, что мы не знаем толком, за что можно вот так, запросто, бездумно расстреливать возвращающихся от немцев своих же людей. Его поддержали двое.

Солдат Сурков просто заорал: “Предателей, изменников Родины, вступивших в боевые немецкие части с оружием в руках, помогавших немцам бить нас, незачем жалеть, расстреливать надо таких на месте”. Его тоже поддержали двое. Обе точки зрения оказались для меня убедительными, и я не мог решить, которая всё-таки правильнее. Времени и сил для спора больше не было. Нужно было за короткую ночь отдохнуть и снова вперёд. Сверили по карте пройденный путь. Оказалось, более 100 километров. Ура! Это действительно подвиг – на столько километров продвинуться вперёд и столь много освободить Белорусской земли.

Земля Белорусская

Дальше число дней и ночей стёрлось, всё перемешалось. Шли без остановок полный световой день, неделями не слыша никакой стрельбы. Вместе с нами шли какие-то другие части, обозы, тылы снабжения, санбаты, бесконечным потоком шла серая шинельная масса людей. Казалось, целый народ двинулся в великое переселение. Лесные массивы, перелески, поля, речушки, сожжённые деревни, брошенная немецкая техника – всё поглощал солдатский шаг. Завершая норму дневного перехода, скорей искали место для ночлега или просто падали, где придётся, и засыпали. Когда норму по карте не успевали проходить днём, шли ночью. Стал замечать странное поведение своих ребят: идут в сторону или делают зигзаги. Ба, это же люди спят на ходу!

Вскоре того капитана за серию неверных поступков от нас отозвали, и вопрос о расстрелянных снова возник. Старший сержант Пикалин утверждал, что мы о них ничего не знаем, где, как и почему они оказались в плену, что вынудило их надеть немецкую форму и т. д. Сурков горячился, доказывая, что в плен попасть на войне немудрено, а вот в форме врага и с его оружием встать против своих – предательство особого рода. Сдаваясь в плен, хотел сохранить себя; сейчас, убегая от немцев, – тоже хочет сохранить себя. Войте, честные, вам кривить душой нельзя!

Мне казалось, что они оба в чём-то правы, но всё-таки я для себя не мог определить, на чьей стороне решающая правда. И в дальнейшем, когда был свидетелем таких расстрелов, испытывал двойственное душевное состояние. Презируя тех, кто из бывших наших служил у немцев, недолюбливал наших, расстреливавших их.

Главная задача состояла в безостановочном движении вперёд, на Запад. Ежедневный ход с восхода июльского солнца до заката отразился на каждом. Лейтенант Лебедев шагал, чуть подавшись вперёд, слабо размахивая руками, пистолет сдвинулся назад и, несколько провиснув на ремне, мерно покачивался в такт хода, не мешая двигаться. За ним следовал Гаврилов с рюкзаком, набитым продуктами, автомат висел спереди. Из всего Гаврилова выделялся

нос, тонкий и острый. Старший сержант Пикалин, казалось, состоял из одних костей, он даже не имел на лице щёк, вместо них имелись две полуямы. Длинный, худой, напоминал он старого журавля. Несмотря на свой мрачный вид, он умел иногда пошутить вовремя и по делу. Немцы, отступая, часто оставляли на дорогах своих расстрелянных лошадей. В июльскую жару их быстро вздувало, от них шёл неприятный запах.

Сурков наш всё время был в части поваром, жирным, он первое время мучился: пот лил ручьями, везде начали образовываться потёртости, человек страдал. “Вот, Сурков, — говорил Пикалин, — ты только теперь попал на войну, только сейчас осознал, что такое пешком гнаться за врагом впереди всех и при этом иметь хорошую возможность получить немецкую пулю или целую их очередь. Там, на кухне, рай: едешь и сыт. Здесь — ад: идёшь и голоден, плюс ждёшь встречи с немцем. Хорошо, что догадались заменить тебя женщиной. — И, посмотрев на убитую лошадь, добавил: — Вот бы зажарить!” Сурков с трудом отвечал Пикалину: “Раз у меня такой жалкий вид, то немец в меня стрелять не будет, а это мясо лошади вполне годится в пищу. В 41-м мы бы его с удовольствием употребили, а то, что сейчас повар — баба, то неизвестно, как и когда она будет нас кормить”. И действительно, кухня двигалась где-то с батальоном, а нам, разведчикам, редко приходилось пользоваться горячей пищей, всё больше сухой паёк да то, что сумеешь раздобыть по дороге.

Так мы вошли в зону большой окружённой группировки немцев восточнее Минска.

Лицом к лицу с немцами

Нас опередили части, двигавшиеся на колесах и гусеницах. Не только нас, но и немцев. Они им закрыли пути отхода на запад, а с востока заперли их в кольцо мы. Вместо одиночек и небольших групп пленных стали попадаться целые колонны. Вот они, те самые немцы, которые имели автоматы, пулемёты, пушки, танки, самолёты, а теперь брели с поникшими головами, имея жалкий вид бесхозной толпы, повинувшись взмаху руки нашего солдата-конвоира. Вскоре для сопровождения в тыл пленных немцев стало не хватать наших солдат и их отправляли с простой бумажкой. В связи с этим вот какой случай произошёл у нас. Я был в паре с Николаем Шесминцевым, шли мы по лесу, деревья старые, толстые, видимо, дубовая роща. Выходя на опушку леса, увидели серо-зелёную двигающуюся полосу: немцы. Приняли решение — отстреливаясь, уйти в лес. Залегли за деревьями и стали рассматривать приближавшуюся колонну. Разглядели, что одна фигура отделилась и пошла к нам, размахивая рукой и что-то крича. Я встал и двинулся к немцу навстречу. Шесминцев меня подстраховывал. Немец, довольно пожилой мужчина, подошёл ко мне, подал бумажку, как на параде, сделал пять шагов назад, козырнул мне и остановился. В бумажке я прочёл написанное красным карандашом: “Группа военнопленных направляется на сборный пункт. Просьба к советским военнослужащим содействовать этому. Подпись: полковник Виноградов”. От радости я закричал: “Колька, ставь затвор на предохранитель, они идут в плен!” На всякий случай отойдя в сторонку и проводив колонну, мы с Колькой по-детски рассудили, что теперь немцы образумились, и при такой сдаче в плен войне скоро будет конец. Но слишком рано мы о немцах так подумали. Находясь с оружием и при командирах, немец оставался немцем. Я же пытался разглядеть в лицах их внутреннее состояние: за что борются, за какие идеалы проливают кровь и отдают жизни? Попав в плен, все без исключения твердят: “Гитлер капут!”

А невдалеке другая группа немцев продолжает драться, трещат автоматы и пулемёты. Я переспрашиваю: “Сталин капут?” — Вся группа зашевелилась, заговорила наперебой: “Э, наин, Гитлер капут!” — “Если вы понимаете, что Гитлер — капут, то почему те не сдаются?” — показываю рукой туда, где идёт бой. Немцы меня поняли, замолчали, опустили глаза. Вопрос трудный. Для меня он тоже имел значение: я познавал практику войны.

Всем, кто двигался на колёсах, мы завидовали. Счастливики! Наконец в их числе оказались и мы. Уж и не помню, кто это организовал, но нам дали автомобиль — американский “студебеккер”. В блаженстве растянулись мы на полу кузова и не обращали внимания на тряску. На рассвете нас разбудили

и сказали, что группа немцев не сдаётся, нам надо во что бы то ни стало быть на той стороне железнодорожного переезда. Приказали всем лечь к левому борту, затворы поставить на боевой взвод и, в случае препятствий со стороны врага, открыть огонь.

Автомобиль набрал большую скорость, поравнялся с немцами, проехал переезд, удалился в лес, остановился. Все сошли с машины, делились пережитым мгновением. Наперебой гадали, что у этих немцев в башке: нас не тронули и не сдаются. Заключили: “Сдадутся, больше им деваться некуда!” Весь день проспали в машине на ходу, далеко остался позади Минск и окружённый противник. На другой день с машины нас ссадили, опять мы стали рядовые, пехотные.

Земля Литовская

И до меня добралась беда. Постепенно правая моя пятка стала натираться. Размотаю обмотку, сниму ботинок — ничего нет, портянка в порядке. Снова замотаю, надену ботинок, а при ходьбе опять трёт. Пробовал бинтовать бинтом, но он скатывается, ещё хуже трёт. Дело дошло до того, что меня отравили в батальонный обоз и вдобавок поручили охранять знамя. Да ещё кто-то поймал немца, и его сунули мне — охранять. Знамя в чехле лежало на повозке, которой управлял ездовой Макаренко. На ней были штабные документы и ехала ещё писарь Валя. До немца я имел возможность под уклон сесть на выступающую из повозки уключину и таким образом немного отдохнуть. Теперь немца приходилось держать впереди себя, и отдыха у меня не стало. “На кой черт, — думал я, — навязали его мне!” От нечего делать рассматриваю сзади немца: среднего роста, плечи развёрнуты, средних лет, плотный, шагает спокойно, не оглядывается, руки сделал назад. Ещё бы не идти спокойно: впереди же его Германия, Родина, а он живой, невредимый. Посмотрел ниже и увидел, что он босой. Земля на дороге сухая, тёплая, мягкая. Ему лучше, чем мне в ботинках, он пленный, и форму соблюдать не надо, и автомат с боезапасом не тащить. Постепенно я стал подумывать, как от него избавиться. Застрелить нельзя, сдать некуда. Устал, стал отставать от повозки. Поняв моё положение, Валя крикнула, чтобы я шёл с немцем, а она посмотрит за знаменем.

Стало темнеть, я начал на ходу дремать. Встряхнувшись, стал оглядываться по сторонам и искать место для ночлега. Увидел в стороне дом с постройкиками, показал в ту сторону немцу, и мы направились туда. Посреди двора увидел возвышение и понял, что это деревенский погреб. Открыл крышку, заставил немца спуститься внутрь, закрыл крышку, растянулся сам поперек неё и проснулся только, когда взошло солнце. Открыл крышку, вылезшему немцу сказал, чтобы он шёл к хозяину дома и просил поесть. Оба голодные, без перевода поняли, что нам обоим надо в эту минуту. Вернулся он быстро, принёс полбулки хлеба и полведра молока. Разделили поровну, сели порознь и в момент всё съели. Хоть и не досыта, но настроение поднялось, душа пообрела. Поспал, позавтракал, погода тёплая, солнце весело светит, сам живой — что ещё лучше можешь иметь на войне!

Никогда не курил, а тут увидел, что немец стал закуривать, решил, что и мне стоит попробовать. Подошёл близко к нему, сел рядом и потянулся к пачке за сигаретой, и вдруг одна рука немца завернула мой ворот гимнастерки на горле, стала душить, а другая — выдергивать из моих рук автомат. Молниеносно оценил ошибку немца: его руки делали два разных дела, значит, силы раздвоены. Я же обеими руками удержал автомат, выдержал удушье на горле, подготовил силы, чтобы оторваться от насевшего врага. В этот момент вдруг он меня оставил в покое, отодвинулся. Я увидел, что с сеновала соскакивают наши из дивизионной разведки и бегут на помощь. Вскочил я на ноги, слёзы брызнули из моих глаз оттого, что этому немцу я охранял жизнь, а он так подло хотел лишиться меня жизни. В гневе я схватил палку, а это оказался цеп, которым вручную молотят снопы, без жалости, со всей силы цепом ударил сидящего немца по голове, затем ещё и ещё... Разведчики меня остановили, успокоили, увели с собой.

Разыскал свою повозку со знаменем и снова шёл вперёд, теперь уже по Литовской земле. Перестали встречаться лесные массивы, пошла больше пашня, часто попадались непривычные для нас хутора — мелкокрестьянская

собственность. Как-то подошёл ко мне Михаил Михеенков и пригласил пойти к литовцу пообедать. Приметили хозяйство, вошли во двор. Всё сделано добротно: дом большой, конюшня, сеновалы, колодец с насосом – всё, что нужно для сельского хозяйства и двора. Вышел к нам пожилой литовец, хорошо говорит по-русски. Спросили, где он научился русскому разговору. Ответил, что служил в молодости русскому царю. Зашли в дом, сели за деревянный стол, огляделись. На лавке, у окна, сидят два парня, здоровые верзилы, в другой комнате слышны женские голоса. Что говорят, не понимаем. Хозяин объяснил, что молодёжь не знает русского языка. Сам по-литовски прикрикнул на жену. Принесли круглую булку хлеба, в большие глиняные кружки налили молока. Я быстро съел свой хлеб, молоко, наелся, отодвинулся от стола, сижу, слушаю, как Мишка неторопливо беседует с литовцами и врасстяжку закусывает. Вышла хозяйка и стала скороговоркой что-то требовать от мужа. Наконец он осмелился и перевёл её вопрос нам: “Будут ли у них создаваться колхозы?”

Мы с Мишкой переглянулись, удивились, растерялись. Вдруг Мишка замотал головой: “Нет, не будут у вас создаваться колхозы”. – “Почему?” – спросил литовец. “В России народ живёт в деревнях, их легко объединить в колхоз. А у вас дома разбросаны далеко друг от друга, и никак в деревню не объединишь”. Литовец слова его перевёл хозяйке, та заулыбалась, принесла ему масла и сала.

Вышли от литовцев довольные обедом и беседой. Михеенков начал даже передо мной хвастаться тем, что насчёт колхозов он точно попал в точку, за что и получил сало и масло. “Но это же обман”, – говорю ему. Он мне сказал, что насчёт колхозов мы оба ничего не знаем, этот вопрос будут решать сами литовцы. “Тогда и надо было так сказать”, – продолжал я. Он мне ответил, что в данный момент он за этот ответ не получил бы ни масла, ни сала. Посмеялись и пошли дальше.

Неман

Вернулся в обоз охранять знамя. Шёл босиком, обмотав портянкой намоленную ногу. Сообщили, что наши передовые части дивизии уже форсировали реку Неман, на её восточном берегу заняли плацдарм, а мы, обозники, бесстыдно отстали. Темп марша так усилили, что лошади не выдерживали, им стали помогать люди. Я снял знамя с повозки, положил на плечо, прибавил шаг. Стемнело, команда: “Привал”. В один момент всё остановилось и загнуло – и лошади, и люди. Меня разбудил незнакомый лейтенант, когда уже рассвело, и сказал, чтобы я не спал, стоя в обнимку со знаменем, а пошёл к своей бричке и лёг на землю. В это же время подали команду “воздух”, и в полминуты люди и лошади укрылись в лесу. Так рано немецкая авиация делала налёт на построенный сапёрами мост через Неман. Выходит, догнали свои боевые части и снова надо воевать. Налёты на мост делала авиация по нескольку раз в день. Мне думалось о том, сколько же ещё осталось там живых немцев? Откуда они берутся? Бьём, берём в плен, а они опять остановили нас, да ещё столько самолётов посылают бомбить мост!

На другой день меня послали связным к майору, дивизионному инженеру. Командный пункт по переправе частей на ту сторону, на наш плацдарм, находился на восточном берегу реки Неман, в месте, где река делает поворот течения 90° – с южного течения на западное.

Поэтому были хорошо видны обе переправы: слева – по мосту, справа – паромом. Паром немцы не видели и бомбили только мост. Ночью сапёры восстановят его – рано утром самолёты повредят, и в этом наши зенитчики недостаточно мешали им. Один налёт был особенно большой и на мост, и на зенитную батарею. Дом, у которого стояла зенитная батарея, загорелся, повреждённая часть моста провисла, не оторвалась и поплыла, как раньше. В связи с этим майор послал меня на мост сосчитать, сколько пролётов выбило, и посмотреть, будет ли пожар мешать переправе.

Преодолев балки и овраги, вбежал на мост, сосчитал три выбитых пролёта и повернулся лицом к горевшему дому, но увидел из-за леса низко летевший немецкий самолёт, оторвавшуюся от него бомбу и машинально попятился от неё. К счастью, разорвалась она, не долетев до моста 2-3 метров, в воде взрывной волной просевшие пролёты оторвались и поплыли, а я упал

в воду. Хлебнув неманской воды, опомнился, перевернулся головой вверх, всплыл, ухватился руками за бревно и поплыл вниз по течению вместе с оторвавшимися пролётами моста. Быстрое течение на повороте подогнало обломки к правому берегу, ногами я нащупал дно, с силой оторвался от брёвен и вышел на берег почти напротив командного пункта. Майор же махнул рукой, дескать, докладывать не надо, — он все видел, — сушишь.

Вечером мост исправили, остатки тылов дивизии перешли на западный берег на плацдарм. Через два дня приехала санитарная часть, на берегу Немана раскинула палатки и устроила всем нам баню. Ничего хорошего, конечно, нет в той бане: вода холодная, торчит самолёт-разведчик — та самая ненавистная “рама”. В случае налёта неизвестно, где спастись. Но всё-таки помылись, освежились, сменили бельё и отдохнули. А ещё через два дня почти всем взводом под руководством старшего сержанта Пикалина и сержанта Жгилёва ходили в трудную разведку для выяснения, сплошная или не сплошная оборона противника на данном участке, где намечалось наступление наших войск.

Получив разрешение от комбата пехотного батальона на переход через передний край, вышли на рубеж поиска и определения переднего края врага. Задача усложнялась тем, что местность была ровная, стеной стояла неубранная рожь; густая ночная тьма мешала визуально определять линию обороны противника. Поочередно выходили из траншеи укрытия на чистое место и, стоя, пытались засечь места стрельбы пулемётов и винтовок. Мешала всё та же ровная местность и очень высокая рожь, да вдобавок не очень хотелось запросто получить шальную пулю. И ещё вызывало недоумение необычное поведение немцев: не бросали ракет освещения и не палили из пулемётов. Оставалось единственное — уши. Постепенно ползком по ржи стали продвигаться вперёд и слушать. С каждой сотней метров напряжение наших нервов нарастало: через рожь в этой тьме нужно было услышать или увидеть местонахождение врага, попутно установить, есть ли мины против пехоты и танков.

Наконец определили, что сплошной траншейной обороны у противника нет, огонь ведётся из опорных пунктов, мин на нашем пути тоже не было. Задача выполнена, надо возвращаться. В это время из глубины нашей обороны, сзади нас, раздались непонятные незнакомые звуки. Все насторожились. Через секунду над всем полем громко заиграла музыка и полилась наша родная песня “Катюша”. Прослушивать противника нам уже помешали, а надо ещё тихо и незамеченными вернуться к своим, перейти всю нейтральную полосу. Кто-то вслух, но тихо выругался: “Вот придумали нехстати!”

Зато домой мы шагали под музыку, весело, а я даже позволил себе от души хохотать над тем, что первые звуки радио принял за чёрт знает что... Оказывается, это агитмашина решила просветить фашистов насчёт их положения и советовала образумиться. На суку берёзы разглядели динамик, а невдалеке — автофургон. Не знаю, как агитация и песня подействовали на немца, а нам и солдатам на передовой очень понравилось. Подошли к фургону, увидели четырёх человек: двух мужчин и двух женщин. Одна из женщин что-то говорила в микрофон на немецком языке. Оказывается, и таким оружием воевать можно. Немного позже позавидовали тем двум мужчинам. А бывший, списанный с кухни повар Сурков заметил, что их надо бы тоже заменить бабами и послать к нам на пополнение. Все понимающе улыбнулись, ехидно пожалели Суркова, а придя к своим, со спокойной совестью и с хорошим душевным настроением улеглись спать. Вот что значит Катюша-женщина наяву, Катюша в песне и “катюша”-установка с 16-ю снарядами!

Наутро оборона неприятеля была сравнительно легко прорвана. Опять начались изнурительные пешие переходы в полный теперь уже августовский день. И литовская земля показалась большой.

К концу августа продвинулись к границе Германии, остановились у самых ворот Восточной Пруссии, не смогли одолеть всего 10 километров. Замыслы командования мы не знали и продолжали делать своё солдатское дело. С Михеенковым находились в суточном наряде на передовой, а когда вернулись в свою часть, то никого из своих не обнаружили. Чужие нам объяснили, что их часть сменила нашу, мы должны её догонять в тылу. К нам присоединился ещё один отставший связист. Втроём отправились на поиски наших. С фронта в тыл идти легче, особенно таким партизанским способом. Шли неторопливо, весело разговаривая, вспоминая обстоятельства фронтовой жизни и переделки, в которых оказывались по своей глупости...

К 12 часам дня почувствовалось, что мы уже сутки ничего не ели. Солнце палит. Стали смотреть по сторонам и определять, в какое хозяйство литовца зайти и попросить поесть. Сунулись к богатому на вид, отступили: всё кругом огорожено, людей нигде нет, по двору носятся пять злющих кобелей. Решили, что у такого хозяина не то что хлеба, воды не выпросить. Стали искать двор победнее. Вскоре увидели старый дом на шесть окон, двор ветхий, около — корова на верёвке пасётся. С опаской подошли. Навстречу вышла очень пожилая женщина и на чистейшем русском языке поздоровалась с нами, пригласила в дом, усадила за длинный деревянный стол без скатерти, объяснила, что тут живут монашки русской православной церкви, имеют небольшой участок земли и немного скота. Другие монашки с нами не разговаривали, но проворно накрыли стол всем, что можно было вырастить на земле к концу августа. Стало как-то не по себе от такого внимания к нам. Мы стали говорить, что нам нужно немного покушать и всё, не надо так беспокоиться. Нас подбадривала наша уже знакомая, благожелательная монашка: “Ешьте на здоровье, что Бог послал!” При таком отношении пища в горле не застревает.

Пообедали добре. На прощание нам задали очень важный вопрос: “Ночь прошло обратно на восток очень много русских войск. Что, вы отступаете?” Толком мы и сами не знали, что означает отход нашей дивизии с передовой. Но ответили бодро, что немного устали, нас другие подменили, а нам не грех и отдохнуть. “С богом, отдыхайте, — проводила нас главная монашка, на дорогу прямо с грядки нарвала свежих огурцов, шёпотом добавила: — Не отступайте. Вам Господь даровал великую победу над антихристом”.

Сытный обед и жара заставили нас искать питьё. Невдалеке увидели обычный хutorской домик, свернули к нему и за углом нос к носу столкнулись с литовкой, молодой и симпатичной. От неожиданности она вскрикнула, но мы её успокоили, подошли к колодцу, с помощью “журавля” достали воды, напились и уселись отдохнуть на широкую толстую деревянную скамью. Михеенков, как всегда, разболтался с литовкой. Она охотно говорила с нами на плохом ломаном русском. Мы спросили, где она научилась говорить по-русски. “О, мы купили два русских Ивана, — говорила она, — на бирже, у немцев, они работали в хозяйстве, и я немного училась ими командовать”. — “О, — в свою очередь воскликнули мы, — вот ты какая?! А где они теперь?” Ответила, что убежали, как услышали про нас. Задали ей такой провокационный вопрос: “Теперь у нас много пленных немцев, не хочет ли хозяйка купить для хозяйства их?” — “О да, мне всё равно, кто, лишь бы работали у меня”, — ответила она без запинки, без тени смущения. Вдруг она спросила у нас, сколько сейчас времени. Мы все трое, как по команде, повернули головы в сторону солнца. Мы не подозревали, но получилось очень смешно, так как ни у кого из нас не было часов. Литовка просто хохотала в истерике, приговаривая: “О русские, нет часов, нет платков!” Такое издевательство мы стерпеть не могли, грозно прикрикнули на неё, сказали, что разобьём немца, наделаем часов, наткём платков, и ушли. Маленькая бабёнка, а испортила настроение трём мужикам. Вот, чертовка, не побоялась наших усов и автоматов! Знала, что это место — глубокий тыл и её никто не тронет.

А мы поплелись дальше на восток и на другой день догнали свои части.

Оказалось, что наша дивизия направлялась в Прибалтику, совершенно на другой фронт. Путь лежал на северо-восток через Литву, Латвию, но уже по освобождённой земле. Наш полувзвод, имея пару лошадей и повозку, шёл днём один, по карте сверяя путь и указателями провешивая дорогу для того, чтобы ночью двигавшаяся дивизия знала направление пути. Осень. Начало сентября. В такой должности нам было совсем неплохо. Нет начальства, нет войны, нет спешки, нет усталости. Есть хорошая пища — тушёнка, трофейный сахар, хлеб. Накопаем картошки в поле, сварим в ведре, истолчём с тушёнкой — вот и еда, а чай — с сахаром, вдоволь. В такой обстановке можно воевать.

В садах было много яблок, встречались пасеки пчёл, скот на привязи. Видно было, что и климат здесь теплее, и земля плодороднее. Вспомнил свой Урал, нашу злую шутку о нём, что “у нас на Урале растёт всякая ягода: и черёмуха, и горох...” Очень хотелось яблок. Просили. Нам разрешали потрасти. Вкусная штука — эти яблоки. Думал, почему они не растут у нас? Золота много, а яблок нет...

Вновь пересекли по сапёрному мосту реку Неман. Здесь он был в три раза шире. Дальше заметно почва изменилась, стала каменистее, чаще попадались болота, леса, жители жили беднее.

Первый Прибалтийский фронт, 43-я армия. На недельный привал остановились в берёзовом лесочке, растянули свои солдатские палатки. Для начальства пошли тянуть большую штабную чёрную палатку в саду дома хозяйства латыша. Закончив забивать последний кол, я увидел, как очень серьёзные люди — Пикалин, Рогов и Хорошев — небольшими палками что-то сбивали с высокой старой груши. Рассмотрел, что это были две созревшие груши и, включившись в азарт, схватил длинную тонкую палку и запустил ею в сбиваемый объект. Груши упали и от переспелости рассыпались. Только хотел наклониться собрать разбившиеся плоды, как меня остановил комбат майор Шашлов и громко объявил: “За уничтожение двух семенных груш объявляю пять суток ареста!” Вот те раз! Кто знал, что они семенные?! Оглянулся. Но моих товарищей и след простыл.

Война в Прибалтике велась несколько в иных условиях. Поэтому прибывшие сюда части проходили дополнительные тренировочные занятия, а наш батальон строил им инженерные препятствия. Возвращались наши поздно, усталые, голодные, и злились на меня за то, что вместо наказания у меня был отдых. Сидел я около часового, меня хорошо кормили, на ночь дополнительно давали шинели, а днём от яркого солнца спасался под мостиком. На третьи сутки майор Шашлов разбудил меня, велел вылезти из-под мостика и объявил, что арест снимает, так как пришло сообщение о награждении меня орденом Славы III степени.

Вскоре началось наступление. Меня направили в распоряжение инженера корпуса. Там оказалась целая группа из других дивизий, дали нам нового лейтенанта, три пароконные повозки со всем сапёрным имуществом с задачей обеспечить блиндажами, укрытиями и предохранить от минных диверсий со стороны врага.

Тяжёлые бои шли в сложных условиях. До Риги — 22 километра. Улеглись опять на сеновал уцелевшего хозяйства латыша. Бесперывно гудят ночные бомбардировщики с обеих сторон, вешают фонари освещения, ухают разрывы бомб, по ним бьют зенитки, их снаряды рвутся вспышками дальше над Ригой, прожектора, скрещиваясь, ищут ночные бомбардировщики. Отличаю: наш прожектор светит лучом более широким, но чуть рассеянным, немецкий — тонким, более ярким. Снизу плывут трассы разноцветных пуль. Не верится, что так медленно плывёт пуля. Одни огни плывут к земле, другие — в небо, прожектора. .. Вот картина для хорошего праздника, а тут все огни хотят поймать и убить человека.

Смена стоянки штаба. Идём быстро вперёд на север подготавливать и оборудовать новое место для КП. Лес. Промелькнули палатки санбата, видны забинтованные раненые, некоторые из них сидят около деревьев. Через час езды въехали на небольшую поляну, посреди которой стоял не сгоревший полностью сарай. Обед. Лошадей распустили, дали сена. Сами зашли в сарай и сели около котелка с недоеденной ранее гороховой кашей. Я взял в руки ложку и откусил от куска хлеба, но в это время послышалось дикое ржание лошадей, пулемётный треск, разрывы. Выскочил из сарая, увидел налёт четырёх немецких самолётов и рванул к лесу. Сзади меня догнал ещё один из наших, упал и сказал, чтобы я посмотрел у него правый бок. Разорвав гимнастёрку, увидел белые кости рёбер, достал пакет, но его хватило только на три оборота. Кровь с воздухом пузырится, выливается. Сказал ему, чтобы он полежал, а сам побежал к сараю за подмогой. Там оказалось, что лошади все убиты, убиты ещё трое солдат, одна раненая лошадь кое-как повезла раненых людей в санбат. За повозкой, опираясь на винтовку, прихрамывал раненный в пятку лейтенант. В один момент не стало сапёрного взвода с его хозяйством.

Вернулся к своему раненому, не зная, чем ему помочь. Метров с двадцати, с опушки леса, услышал голос: “Иди сюда”. Я подошёл и увидел солдата. Очень молодой, без усов, сидел на снарядном ящике и курил. Сказал с усмешкой: “Какой же чёрт понёс вас наперёд пехоты прямо к немцам!” Я ему ответил, что если он всё видел, почему нас не остановил. Тогда он мне сказал, что толком сам не знает, рассказал, что метрах в двухстах от него окопалось не больше сотни наших пехотинцев, да он один от всей батареи сорокапяти-миллиметровых пушек с одной невредимой пушкой и десятью оставшимися

снарядами держал оборону. “Бери, – говорит, – мою Екатерину Ивановну и отвези раненого. Сыро тут, песок, толкового окопа не выкопаешь и лошадь не спрячешь. Отвезёшь раненого, лошадь верни, а то нечем будет тянуть пушку”.

Сколько прошло времени, пока я возил в санбат раненого, не знаю. Но когда вернулся, около пушки стояло человек пять пехотинцев, а мой хороший знакомый на коленях, как-то неудобно повалился вперед между колесом и щитком пушки. Я понял, что он убит. Пересчитал валявшиеся гильзы, их было десять.

Пехотинцы показали рукой на подбитый “тигр” – немецкий танк. Подошли к нему. Вот громадина! Порвана гусеница, пробоина в борту между траками. “Молодец, Иван, – сказал подошедший к танку сержант-пехотинец. – “Тигру” остановил и немцев прижал к земле. Полная победа на данном участке фронта!” Взяли нашего Ивана на руки, принесли к убитым сапёрам и похоронили в одной могиле. Партбилет и красноармейскую книжку Ивана артиллериста передали лейтенанту подошедшего пополнения.

Долго шёл, блуждая в лесах и среди других воинских частей. Наконец услышал слово “семидесятая”, значит, наша, моя дивизия. Быстро нашёл свой 64-й батальон сапёров и совсем родной свой взвод разведчиков.

Государственная граница СССР

Нас повернули назад, на юго-запад. Утром, на рассвете прошли город Шяуляй, повернули на северо-запад, углубились в дремучий еловый лес, заняли оборону, сменив какую-то часть.

Был уже месяц октябрь. Через два дня обнаружили, что немец здесь нас не ждал и при небольшом нажиме отошёл. Снова двинулись без остановок более ста километров и наконец увидели красный шёлковый стяг на большом столбе и надпись: “Граница СССР”. Подошли ближе и стали с волнением рассматривать то место, которое названо границей. Стояли указатели на немецком языке, а рядом – на русском: на Мемель, на Кёнигсберг. Вот она, та земля, откуда на нас навалилась германская орда. Сама земля и местность не вызывали в моей душе неприязни, а вот люди, принадлежащие к немецкой нации, не давали моим мыслям покоя. Я плохо знал историю нашей Родины, припомнил события, когда русским приходилось пересекать границу Германии. Но то по книге. Сейчас я это делаю сам в качестве носителя возмездия за совершенные этой нацией преступления. Не мстить, а наказывать тех, кто вдохновил и развязал эту войну, обманул германский народ. Даже в таком положении они продолжали сражаться за своего фюрера. Думал о немцах: были у них свои хорошие немцы Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Почему же они послушались какого-то проходимца – австрийца Адольфа Гитлера – и его шайку – партию нацистов? Почему убили Карла Либкнехта, Розу Люксембург и Эрнста Тельмана?

Взятые в плен оруд: “Гитлер капут!” Ещё не взятые: “Хайль Гитлер!”

Для решения этих и других вопросов моя семидесятая дивизия (и я вместе с ней) пересекла государственную границу СССР и вступила на территорию врага.

От раздумий очнулся из-за громкой песни о том, что “тёща виновата”. Лихо, с песней, на полном ходу пересекла границу артиллерийская часть. Мужские голоса хорошо дополняли женские. Пели с азартом, растягивая “тёщу” до предела голоса и дополняя бесконечными присказками. Следом прошли 12 “катюш”-машин в “голом” виде, с подвешенными снарядами без брезентов. За ним двинулись тяжёлые тягачи и тащили пушки, которые я раньше никогда не видел. Крепостные. Ого, вот это техника!

Улеглась пыль, двинулся к своим. Около палатки на пенёчке сидел Мишка Рогов. Подошёл к нему и расслышал, что он шутит через стенку палатки с девочками. Продолжая наговаривать им что-то смешное, просил меня подтвердить, что он до сих пор не женатый и готов влюбиться в первую, которая выйдет из палатки одна. На щите, недалеко от палатки, красовалась надпись: “Взвод охраны госграницы СССР”. Я показал Рогову на надпись. Он притворно таяжко вздохнул: “Ох, эти женщины, женщины! До чего дошло, что они не стали доверять охрану мужикам, боятся, как бы мы не проспали границу, как в 1941 году!”

Уходим от девчат с чувством, как будто по злой воле у нас сорвалось свидание с девчонками. Душевно трудно стало шагать по чужой земле. Ни с того ни с сего стал надоедать автомат, у ворота отлетела пуговка. У Рогова лопнул брючный ремень, оторвалась подмётка на сапоге. Отошли в сторону, сели передохнуть и поправить амуницию. Мы сели, и наши части устроили привал. Видно, не одним нам стало невозможно идти по чужой земле!

К вечеру нашу семидесятую повернули лицом строго на север. Разведчиков снова послали вперёд. Шли осторожно, по двое, держа автоматы на боевом взводе. Вышли к реке, один пролёт моста торчал в воде, два других были целые. Надо было переправлять дивизию на тот, вражеский северный берег, на Мемель.

Отыскали рядом с мостом хороший, с твёрдым дном брод. За ночь переправили не только свою дивизию, но и другие части. Без труда прошли танки, другая техника и обозы. Когда рассветало, переправа частей закончилась, появившиеся высоко в небе пять немецких самолётов ничем уже помешать нам не могли. Вообще очень заметно было, что авиации у противника было мало. Она появлялась редко, малыми группами высоко или пролетала очень низко, воровски. Сами мы перешли реку, на том берегу оделись, позавтракали сухим пайком, запили водой из реки, только что имевшей для нас значение как форсированный водный рубеж. Дивизионный инженер достал карту, по которой узнали, что зовут ту реку Минией. На указателях сохранились немецкие дорожные знаки, и мы прочли: Memel – 17 км. Так впервые в своей жизни я стал участником освобождения крупного портового города на Балтийском побережье.

15 октября 1944 года. Рано утром меня вызвали в штаб батальона, где лейтенант Лебедев и майор Шашлов поручили ответственное задание: во время наступления быть связным у дивизионного инженера.

День начинался в приподнятом настроении. Когда готовится большое наступление, солдат это чувствует. Даже взошедшее яркое солнце готовилось помогать нам: оно светило и ослепляло глаза врагу.

Командный пункт наступающих войск размещался в блиндаже за южной стороной кирпичного хуторского дома. Доложив о своём прибытии дивинженеру, я отошёл к деревянному сараю-сеновалу, уселся в тени и стал рассматривать всё, что делается вокруг. Хозяин этого удельного хутора, видимо, жил исправно. Кто он: немец или литовец? Из-за этого Клайпедского-Мемельского района шла вражда между немцами и литовцами. Сегодня нам надо положить конец этому спору, помочь малому народу восстановить справедливость. Недалеко от меня сидела довольно большая группа штабных офицеров и о цели наступления рассуждала несколько иначе, чем думал я. Прислушался. Оказалось, взятием Мемеля решались сразу несколько важных стратегических задач, две из которых я уловил: полностью окружаем Курляндскую группу противника и создаём условия для штурма Кёнигсберга. Оживлённый разговор у них прервался потому, что прибыл генерал, они быстро разошлись по своим местам. Тут же от танковой части подъехал для связи офицер. Обратил внимание на необычный танк: выкрашен чёрно-серой краской, гусеницы узкие, башня высоко, пушка короткая. Сразу понял: чужая машина.

Подожли и другие. Стали удивляться несуразнице конструкции этой штуковины. Офицер объяснил, что это хозяйство присылает Черчилль, у них радиооборудование неплохое, и их больше используют для связи. А в бою это не танк, а мишень, никакого сравнения с нашими.

В двадцати шагах от меня находился бетонный склад-хранилище. Пошёл посмотреть, зачем наш брат туда набился битком. В четырёх местах виднелись стереотрубы, перископы, на гвоздях висели бинокли. Около них сидели, лежали солдаты, сержанты, лейтенанты. Понял, что это посты корректировки артиллерийского огня. В самом углу отдельной группой сидели три молоденьких женщины-сержанта и с ними очень молодой лейтенант, насильно отравивший пушок-усы. Сидели они за столом, негромко смеялись. Артиллеристы, шутя, называли его Иван-Катюшей, со смыслом завидовали ему, обещали для его детей в том доме открыть детсад. Кое-как уразумел, что девушки со своим командиром представляли собой командный пункт управления огнём отдельно от артчасти реактивных установок. Вот тебе и Катюши с Иваном! Или, лучше, Иван с Катюшами!

Ближе ко времени наступления сразу смолкли и шутки, и смех, люди заняли свои боевые места, повернулись лицом на север, к неприятелю, задвигались оптические приборы; наступила боевая тишина. Лейтенант Иван-Катюша (такое ласковое прозвище к нему очень подходило) сосредоточился у стереотрубы, девушки за столом развернули планшеты и стали что-то быстро считать. Один я испытывал неопределённое состояние и ушёл на своё прежнее место к деревянному сараю.

Почувствовал нарастание гула. Повернув голову на юг, в лучах солнца увидел большую группу наших самолётов-бомбардировщиков, и тотчас ударила наша артиллерия. При появлении второго эшелона бомбардировщиков ударили “катюши” и РС. Гул и вой стрелявших орудий усиливался. Танкист на “тридцатьчетвёрке” рванул и быстро укатил. Остался на “Черчилле” тот, которому задавали много вопросов о пригодности вот в таком бою глуповато сделанной английской боевой машины. Он подошёл ко мне и попросил закурить. Виновато оправдывался я перед ним, говорил, что не курю, а табак отдаю своим ребятам. Он искренне удивился: на войне и не курит? “И не пьёшь?” – спросил он в упор. “Да, не могу пить по натуре”, – ответил я. Посмотрел на меня сверху вниз и добавил: “Первый раз вижу такого человека в форме разведчика!”

Поднялся аэростат наблюдения. По нему немцы стали бить шрапнелью. Низко, воровски пролетали немецкие самолёты, бомбили мелкими минами и обстреливали из пулемётов. Чтобы не оказаться жертвой стальной пули или осколка, испытывая тошноту от пороховой гари, залез в крытую щель-укрытие, немного погодя, ко мне свалился головой вниз офицер с погонами капитана. Папка с бумагами разлетелась, лицо бледное, губы дрожат. Опомнившись и увидев меня, с виноватой усмешкой сказал: “Гадкая это штука – авиация, видишь, как гонится за тобой твоя собственная смерть!”

Тяжкий гул канонады стал стихать. Вылез из укрытия и глазам своим не поверил: на острове врага, насколько охватывал мой глаз, и ввысь и вширь стояла чёрно-серая туча дыма и пыли. Отбомбившиеся наши самолёты уже возникали из этой тучи. У одного из них вдруг оторвалось правое крыло, накрываясь на левое, он стал падать, а выше него показалась белая точка парашюта. Приземлиться ему было некуда, кроме территории врага. Тревожно стало на душе за судьбу того лётчика: свой, наш, советский, хотя и лично не знакомый мне. Ещё немного, ещё чуть-чуть, и ушёл бы он из ада огня, ещё малость, и не достал бы его самолёт тот фашистский снаряд! Надо же, ещё и огрызается, гад! Не верилось, что может ещё что-то живое быть там после такого огня, который вёлся из всех видов орудий с нашей стороны. Такое я видел впервые и в душе надеялся на победу.

Но я не генерал. Я самый что ни на есть рядовой солдат. Не берусь судить, почему в том бою не была одержана победа, хотя людей, техники и огня было много.

Молча, забрав свои приборы, разошлись арткорректировщики, угнал танкист на “Черчилле”, спустился и уехал аэростат, уехал генерал и весь штаб. Я остался один и, не найдя своего дивинженера, вернулся в свой взвод.

Тяжёлое ранение

Вечером того же дня, точнее – в 21.00 час я, Михаил Михеенков и Николай Шесминцев были направлены на передний край нашей днём остановившейся в немецкой траншее пехоты. Сейчас не могу вспомнить, какая задача нам ставилась. Не помню, что произошло.

Сознание приходило медленно, с трудом стал вспоминать, кто я и где я. Боли нигде не ощущал. Кое-как добрался до мысли, что я солдат и нахожусь на войне. Ухватившись за эту мысль, стал припоминать, как шли к переднему краю, артобстрел, а дальше – нет ничего. Пустота. Пошевелил ногами, затем руками: вроде целые. Поднял правую руку и стал ощупывать себя. На левой руке и на груди нащупал бинт, по нему стал ощупывать дальше. От шеи и дальше вся голова была в сплошном бинте с толстой накладкой ваты. Стало страшно – лицо? В это время кто-то взял мою правую руку и крикнул: “Живой? Я – Мишка Рогов, твой друг! Пришел узнать, как у тебя дела?” Я заволновался, рукой показал на лицо, пожаловался другу, что меня так неудобно

ранило в лицо. Рогов заговорил резко и быстро: “Ерунда, все заживёт, и девки не побрезгуют. Они знают, что на войне либо убивают, либо калечат. Нам ещё не известно, что будет. До Берлина ещё очень далеко. Вы напоролись на немецкую противотанковую мину, нашему Макаренко обе ноги оторвало, он вот рядом лежит с тобой. Николая Шесминцева сложили в мешок и схоронили. Сейчас вас будут грузить и отправлять в далёкий тыл. Я сам тебя положу на машину”. Я опять потерял сознание.

Устойчивое сознание вернулось ко мне в Даугавпилсе в дни праздника Октябрьской революции. Подошла ко мне медсестра и предложила выпить лекарство. Одной рукой приподняла мою голову, а другой рукой поднесла кружку. Я тут же задохнулся, оттолкнул рукой кружку, она у неё из рук выпала. Всё пролилось. Я упал на подушку. Замахал руками: это же водка!

Поняв свою оплошность и извиняясь передо мной, увезла меня в операционную, разбинтовала. Я спросил, что у меня там видно? Говорил я не очень ясно, одним языком. Она вздохнула очень глубоко, затем сказала, что видит много выступивших осколков, очень мелких и большинство медных. И принялась их тихонько вытаскивать. Вошёл мужчина- врач, приветливым голосом спросил, как у меня обстановка с глазами. Глаза. Я почему-то о них не подумал. Вдруг врач спросил меня: “Видишь?” – “Нет”, – ответил я. Открыл другой глаз и опять спросил, вижу ли я? Я и другим ничего не видел. Было просто темно, и я не различал разницы, когда глаза открывали и когда – закрывали. Последовало распоряжение – влить ему крови.

Так потянулись госпитальные пересылочные дни. Через Москву эвакопоездом привезли в город Тамбов и поместили в глазное отделение большого госпиталя. Здесь начался у меня тяжёлый воспалительный процесс: от попавшей взрывчатки все поражённые места почернели, вздулись. Теперь уже болело всё. Мало ощущал, что я живое существо, что нужно терпеть телесные боли, и не представлял себе саму жизнь.

В начале марта 1945 года кризис прошёл. Мне сообщили, что поставили в известность моих родителей, прочитали полученные из дома письма. Появился аппетит. Назначили дополнительное питание. Ожил. Дело пошло на поправку. Лёгкая повязка была только на глазах, они по-прежнему не видели, а света боялись. Как только зажгут свет в палате, сразу невидимые лучи ударяют по мозгам, и я падаю лицом вниз в ватную подушку и так лежу весь вечер.

Палата была огромная. В ней лежало 150 человек – и тяжелобольные, и выздоравливающие. Целый день стоял шум: кто смеялся, кто плакал, кого трясло, а кто с кем-то спорил. Я лежал с украинцем вдвоём на одном топчане. Каждый день приходила женщина с разогретым парафином и накладывала его мне на лицо для смягчения рубцов. Затем стала приходиться старушка учить грамоте для слепых. Узнал, что сию премудрость изобрёл слепой француз Брайль.

16 апреля, в день моего рождения, меня положили на операционный стол делать пластическую операцию. Надо было зашить веко правого глаза и наложить, выражаясь медязыком, трансплантат на левый. Проще – содрать кожу на левой руке и пришить её вместо века.

Первый раз в жизни люди резали меня с благородной целью: надо было прикрыть глаза и придать лицу более или менее нормальный вид. В обоих случаях нужна тонкая работа специалиста. Делал операцию хирург-мужчина. Он всё время молчал. Ему помогала наша палатная врач. Она много говорила, и в каждом слове у неё получалось по 3-4 звука “р”. Тонким голоском иногда попискивала медсестра.

Кроили, примеряли, обсуждали. Ранило в один миг, а душу тянут целый день. Слышал, как ребята хвастались тем, что во время операции ругают врачей матом. Когда стали с руки сдирать шкуру, не выдержал и тоже выпалил трёхэтажный. Вначале была пауза. Затем “звук “Р” стала меня стыдить, затем упрекать, что вот-де мы стараемся, и ты нас так благодаришь...

Душа моя забыла про боль, вся устыдилась, тройной пот выступил. Не поверил тем, кто хвалился своим ухарством на операционном столе. После этого врачей никогда не ругал и очень уважал их.

В день Победы, 9 Мая, впервые ощутил себя в положении инвалида. Радость от того, что остался живым, и тут же охватила печаль: как жить с посторонней помощью? Сосед по койке, сибиряк Иван Дятлов, у которого пуля

сидела между черепом и мозговой оболочкой, стал меня убеждать в том, что моё положение лучше, чем у тех шести. Эти шестеро лежали всегда тихо, ничего никогда не просили, ничем не возмущались. Как ухитрилась война отнять у них ноги, руки и глаза одновременно, трудно осознать. Из шестерых одного взяла домой мать, от остальных родственники отказались и их готовили в Дом инвалидов.

В свои девятнадцать лет пришлось размышлять о многом и с тревогой думать о своей будущей жизни. Кому досталась наша победа, кто будет пользоваться её плодами? Оценят ли люди наш труд, наши отданные за неё жизнь и здоровье? Наконец, как будут относиться ко мне, к моему тяжкому увечью? Помогут ли словом и делом в трудный час, тяжкую минуту? Как жить и пережить своё личное горе? .

Домой сопровождала меня медсестра Тамара Крупякова. В Свердловске трамваем доехали до остановки Лесная, сошли и сразу очутились в сосновом бору. Разулись. Босиком в июле месяце ходить – одно удовольствие.

Говорю Тамаре, какие предметы должны встречаться на нашем пути, а она по ним определяет дорогу. Прошли мимо опустевших землянок, где проходил предфронтную подготовку. Миновали расположение бывшего 55-го “бабьего полка” связисток. Где они теперь, наши соседки по военной службе?

Дальше шли полем, затем через плотину пруда, а ещё через два километра я вошёл в свой родной дом.

Через несколько минут прибежали мои младшие братишки, затем пришли отец, мать, сёстры и соседи. Всё-таки живой, вернулся! .